

Пигулевский Виктор Олегович,
профессор, доктор философских наук,
ректор Южнороссийского гуманитарного института,
г. Ростов-на-Дону;
Мирская Людмила Анатольевна,
профессор, доктор философских наук
проректор по научной работе
Южнороссийского гуманитарного института,
г. Ростов-на-Дону

ИРОНИЯ КАК ВЕХА ДЕКОНСТРУКЦИИ

В ситуации постмодерна возникает проблема подрыва генерального смысла, фундирующего европейскую метафизику и картину мира. Начинается переход к маргинальным смыслам и значениям, составляющим подоплеку структурирования и формообразования. Культура понимается как текст, институты как означающие структуры, а все виды деятельности как дискурсивные практики. Совершенно не случаен в этой ситуации феномен деконструкции как художественной транскрипции философии. Понятие «деконструкция» впервые было предложено М.Хайдеггером, введено в научный оборот Ж.Лаканом, а теоретически обосновано Ж.Деррида. Пафос, озабоченность той поверхностью вещей, которую в состоянии – но лишь на время – означить и вывести в будущее симбиоз философии и литературы, всерьез просматривается и в иронии. Ирония – это такое игровое сознание, которое может поочередно делать и разрушать, призывать и отстранять.¹

В ситуации постмодерна ирония существенно изменяется по сравнению с современной (на языке Деррида «традиционной») фигурой культуры. Ирония становится не только своеобразным методом, но и «граммой». Она сама по себе является означающим и означаемым. Как не вспомнить утверждение Деррида о том, что деконструкция не ограничивается методологическими процедурами. Она движется вперед и прокладывает вехи. Такой вехой деконструкции (и герменевтики) стала ирония среди стратегий обращения с текстами. Это закономерно и понятно: связь иронии с символом и ее непосредственное участие в истолковании смысла указывает на близость с герменевтикой, а направленность на поругание, подрыв устоев и провокации роднит ее с деконструкцией.

Текст, понятый как «мировая рамка», изначально гетерономен, ибо в нем сочетаются различные знаки, следы прививок, включений, метки, разнообразные языки и законы. Он не сводим ни к какому синтезу, не имеет направления развития и не подчиняется какому-либо общему закону, порой даже закону «языковых игр». В тексте пересекаются живописные, графические, компьютерные и видео коды, превращая его в художественную транскрипцию философии посредством поэтики. Эта транскрипция предполагает осмысление метафорической этимологии философских понятий. Когда телесно-чувственный субъект стирается или подчиняется трансцендентальному означающему, он может быть переосмыслен лишь путем деконструкции прежнего «онто-тео-телео-фалло-фоно-лого-центризма» (Деррида).

Поэтому, с одной стороны, в каждом тексте, включенном в обширный гетерономный контекст, остается проблема понимания, а с другой – недоверие к логоцентризму, метафизике текста. Такая двусмысленность ставит вопрос о раскрытии человеческих усилий как подоплеку всякой структуры, обнаружении действия *под* смыслом. Как расширение или смещение смысла в процессе интерпретации, так и его дисперсия в процессе деконструкции начинается с понимания того, что остается нечто, лежащее за пределами данного текста, данного горизонта понимания, что требует определенного дистанцирования, критической позиции или иронии. Как правило, деконструкция изначально иронична, подразумевая неполноценность, недостаточность данного высказывания.

¹ Янкелевич В. Ирония. Прощение. М., 2004, с.38.

Последнее замечание указывает на особую трактовку иронии: ее понимание выходит за рамки аналогии, равноголосия, возвышения или умаления субъекта. Скорее наоборот, ирония ставит под сомнение трансцендентальный субъект и отсылает к поиску телесности с ее интенсивностями, энергиями, желанием и интенциями, которые определяют всякое структурирование и дарование смысла в языке, а в конечном итоге и конституирование любого субъекта: экзистенциального, рационального или романтического. Неустойчивая ирония начинается с мнимого «да» и, указывая на некоторую недостаточность, замирает в многозначительном сомнении, не давая перейти утверждению в *свою* противоположность. Она говорит так: «это не является тем, чем мы привыкли считать (видеть), но может быть...». В ситуации постмодерна ирония не столько аналогия, сколько различие, чувство множественности и недосказанности. Эта позиция, оставаясь в пространстве мысли, ведет к негативной диалектике также в пространстве письма и речи. Будучи обращена к подтексту, вуали знаков и слов, покрывающих положение вещей, к телесности, ирония позволяет противоположностям оставаться таковыми и фиксировать это окончательно. Так ирония переходит в то, что получает наименование деконструкции (Ж.Деррида), критики (П.де Ман), текстового анализа (Р.Барт).

Обратный план такой иронии - отсутствие, ментальная пустота, которая освобождает данный текст от его зависимости от логоса, истины, правила и прочих условностей. Пожалуй, эта особенность выражена в диалоге у Д.Бартельми:

О: Эти идиотские вопросы...

В: Не получающие адекватных ответов.

О: ...идиотские вопросы, не ведущие ровно никуда.

Ирония приводит к неопределенности глобальное означающее и открывает дорогу для разборки структуры, проникновения в поле возможностей образования текста и смещения смысла в пространство слов и вещей. Эта открытая ирония в пространстве гетерономного текста не дает развертывания отрицания в линейный ряд, а утверждает многозначную текстуальность. Где-то там за ней маячит разобранное Бытие Хайдеггера. И ирония и деконструкция, риторически действуя в пространстве текста, обнаруживают эти сходные результаты.¹

Например, деструкция глобального означающего в творчестве Рильке с целью обнаружения маргинального смысла и выявляет механизм риторического исполнения желания субъекта. В поэзии Рильке, согласно де Ману, сущее зачастую не называется, а различные предметы отнюдь не объединяются общей идеей. Текст оказывается нерепрезентативным, поскольку его метафоры не коннотируют объекты, свойства или ощущения, а отнесены исключительно к желанию говорящего субъекта. Цель письма в изменении сущего, которое позволяет исполнить некий смысл. В основе творчества поэта лежит своеобразное риторическое возбуждение, эйфория, задающая ритм и благозвучие стиха. Намерением риторики является озвучивание, а не осознание чего-то, открытие песни, скрытой в языке. Так в *Часослове* трансцендентный смысл «Бог» образуется отнюдь не за счет наименования или молитвы, обращенной к Богу, а из рифмы, песни метафор и ассонансов. Это значит, что «метафоры коннотируют формальный потенциал означающего. Референт стихотворения – атрибут их языка, сам по себе лишенный семантической глубины; значение стихотворений – овладение техническими навыками, которое они подтверждают своими успехами в акустике»². Звуковое преобразование действительности (вещей, их свойств и ощущений) осуществляется за

¹ Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен // Комментарии. 1997, № 11; Деррида Ж. Конец книги и начало письма // Интенциональность и текстуальность. Томск, 1988; Деррида Ж. «Улисс-Граммфон» // Комментарии. 1995, № 5,7; Деррида Ж. Шпоры: стиль Ницше // Философские науки. 1991, № 2,3; Деррида Ж. Страсти // Социологос. М., 1996; Деррида Ж. Цели человека // Человек и его ценности. М., 1988.

² Ман П.де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург, 1999, с.44.

счет перемены, обращения свойств разнородных объектов, агента и инструмента. Риторическая фигура – хиазм, исполнение иронии, а не выражение ее как интеллектуального отношения. В стихах поэта перемешиваются свойства действительности и ее зеркального отражения, смерти и жизни, времени и звука, восхождения и нисхождения, струны и скрипки. Тишина, например, приобретает поэтический смысл звука:

А наверху? Там тишина вздыхает
Над тайнами курантов вековых
И ягоду за ягодой вкушает
Из грозди перезвонов часовых.

пер. А.Биска

Хиазм обеспечивает превосходство Lexis над Logos. Хиазм опирается на случаи отсутствия, которые создают необходимый для обращения простор, и служат истоком желания: пустота скрипки, отсутствующий глаз, нереальность зеркального образа, ночная тьма солнечных часов.¹ Наконец, хиазм и отсутствие – индикаторы иронии, подрывающей привычное означающее: «Это обращение традиционной первичности, которая помещала глубину значения в референт, рассматривая его как объект или как сознание, более или менее верным отражением которого становится язык, утверждается в поэзии Рильке мгновенным сокращением себя в своей противоположности»².

Риторика языка обуславливает аллегорически-фигуральный текст, который, одновременно становясь самодостаточным, ироничен по отношению к жизни, т.е. для традиционного тезауруса сознания читателя. Тропы не скрывают, а подчеркивают отличие литературы от жизни, поэтому риторика тропов становится механизмом беспредельного письма, текстуальности, который устанавливает с жизнью отношение насмешки и недоверия. Так ирония становится своеобразной «граммой». Хотя Поль де Ман определяет иронию, следуя романтической традиции: «Ирония появляется именно тогда, когда самосознание теряет над собой контроль... ирония – не фигура самосознания. Она – слом, вторжение, разрыв. Это тот миг, когда теряет контроль не только автор, но вместе с ним и читатель»³. В соединении аллегорически-фигурального повествования с иронией, посредствующей в отношениях между поэзией и жизнью, тайна всякого текста. Возможно, также, и тайна деконструкции.

Кроме риторики, ирония и деконструкция имеют общее основание - это желание как атрибут телесности (субъективности тела), сопряженной с текстом. В этом плане мы имеем дело с нетрадиционными проявлениями иронической игры, т.е. прежде всего с эффектами и ситуациями. Она работает в пространстве текста или в пространстве слов и вещей, являясь *эффектом желания*. Всякое положение вещей ничего не значит без внимания к нему со стороны человека. Желание, интенционально обращенное к миру, позволяет увидеть некий факт. Факт остается голым фактом до тех пор, пока он не рассказан другому, тому, кто подтвердит его существование. Будучи рассказанным, он становится событием. Но суть в том, что желание события осуществляется в нескольких версиях. Примером может быть рассказ Акутагава *В чаше*, где разбойник заманил в чашу самурая и его жену и, как потом выяснилось, самурай был убит. По версии разбойника, самурая убил он; по версии жены самурая, его убила она; по версии духа самурая, он покончил с собой. Не только сам человек видит сценку в разных временных аспектах, проживая и наблюдая его, но и свидетель застает происходящее в своем времени. В результате складывается несколько равновероятных версий, и событие приобретает несколько смыслов, совершенно безразличных истине или лжи, логике или хронологии происходящего. Тут то и возникают возможные смыслы, которые не только противоположны друг другу, но фрагментарны и инородны друг другу. Естественно, что, будучи вынесены на поверхность настоящего смыслы, события сбивают с толку всякий

¹ Там же, с.58-60.

² Там же, с.59.

³ *Moynihan R. Interview with Paul de Man // Yale Review. 1984. Vol. 73. № 4, p.580.*

логизирующий рассудок и здравый смысл, всякое генерализующее мышление и постоянно обрывают язык «общих мест». Желать событие - это также насмехаться над миром, придавая обстоятельствам какой угодно смысл, а, значит, активно изменять событие или ситуацию. Ирония является *инсценированием* объекта желания: когда подрывается общий смысл, тогда из обломков и фрагментов конструируется новый невозможный объект. Он индивидуален и выражает намерение «так я хочу». Ирония работает в пространстве телесности и текстуальности, когда телесность выражается желанием, сознание характеризуется интенциональностью, а текстуальность тождественна культуре.

Ирония как «грамма» деконструкции истории или логоцентризма предполагает разборку, расслоение структуры или критическое (неправильное) прочтение текста с целью разрушения означаемого центра структуры как основы иерархий, законов, типологий, идей и понятий. Или иначе – ирония нужна для устранения предвзятого мнения конституирующего субъекта или даже самого субъекта. Возможность проникновения «под язык» в более широкий контекст или в область интердискурсивных зависимостей и обнаружение скрытого способа порождения текста за счет иронии, заставляет сделать вывод, что структура текста есть лишь результат человеческих усилий, а значит, она вполне может быть пересмотрена. Или: что структура текста существует до всякого субъекта как игра против смысла. И двигатель этой игры – ирония. Ирония – это и есть игра со смыслом и против смысла.

На этой основе начинается обратный процесс. Происходит сборка новой конструкции из различных цитат, частей, фрагментов контекста, которая уже не является *репрезентацией* некоей действительности для субъекта, но результатом *производства*, изобретения или постановки объекта желания, события, смысла. В новой конструкции стерты различия действительного и вымышленного (ибо смысл размещается на поверхности телесности, а не в символических глубинах субъективности или высотах идей). Речь идет о производстве потому, что в отличие от интеллектуальных методов создания текста деконструкция затрагивает не только дискурсы или означающие репрезентации, но и материальные институты, социальную действительность, опосредованную дискурсивными практиками. Собственно текст - особого рода тело, ткань или «материя» мысли, на которой производится запись норм и законов и в которой структурируется опыт (Р.Барт, М.Фуко).

Деконструкция, имея целью децентрацию текста, проводит фрагментацию, а не генерализацию текста, и дисперсию, а не интеграцию смысла. А это предполагает опору на маргинальные элементы текста, разрывы означающих (сноски, отступления, аллюзии, оговорки, кавычки и пр.) и критическое прочтение, которое не может быть адекватно самому тексту в силу риторической и метафорической природы языка (Поль де Ман). Игра текста против смысла (Х.Миллер), установка на отсутствие стандартов истинности, любого устоявшегося значения, принципа структурирования сродни ироническому *релятивизму*.

При этом ирония в качестве саморефлексии и деконструкция как тщательное прочтение текста остаются двумя сторонами процесса - понимания субъектом всеобщей неустойчивости, относительности и обнаружения следов остаточных смыслов дискурсивных практик прошлого, из которых может изобретаться иная реальность (гиперреальность, новая вещественность).

Процесс конструирования в отличие от чисто производственного проектирования и сборки сродни капризам психеи. Он осуществляется по прихоти души, под влиянием интенсивностей телесности и сопровождается иронической рефлексией - критическим использованием наследия, традиций, следов, отголосков. Использование фрагментов прошлого и отрицание целостности традиции и смысла истории воплощается как опыт невозможного, многообразия, *плюрализм* соиздания, стиль метаморфозы или как аллегория иронии.¹ Иронический плюрализм, в отличие от принципа подобия, разворачивается в пространстве

¹ Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000 с.20.

текста на основе различия – установления различия и постоянного отсрочивания значения.¹ Он, уничтожает иерархии, антиномии, структуры и порождает не хаос, но новую конфигурацию. Это изобретение невозможного – лабиринт означающих и означаемых, игра отсутствия и присутствия телесности, желания, интенсивности.

Различение предполагает не только отличие знака от самого себя за счет отсрочивания значения в будущее, но и разрыв в пространстве: различие должно означать точку разрыва с системой гегелевского снятия и спекулятивной диалектикой.² Деррида писал: «Глагол «различать» представляется словом, отличающимся от самого себя. С одной стороны, он обозначает различие как отличие, неравенство, различение; с другой – выражает вмешательство запаздывания, интервала *опространствливания и овременения*, откладывающего на «потом» то, что отрицается сейчас – означает невозможное, являющееся невозможным в настоящее время»³. В этом смысле открытая, неустойчивая ирония отличается от традиционных типов, построенных на принципе аналогии и диалектики. Она иначе направлена – предполагает отстранение телесного выражения и смысла от вуали топосов, стереотипов, клише сложившегося языка, от идей, иллюзий, от суверенной личности.

Ирония может быть прерывиста, ибо, разрушая иерархизированные структуры, предполагает децентрированную, подвижную сетку значений. Перескакивая с одного на другое, невзирая ни на какие законы, ирония руководствуется лишь вероятностями и возможностями, открывает множество перспектив и образует серию идентичностей в биении пульса жизни. Подрывая генеральный смысл, ирония вкупе с деконструкцией, не возвышает субъект над миром, но разрушает его бестелесное, трансцендентальное бытие путем отчуждения телесности от текста как мировой рамки. Она не делает человека жертвой обстоятельств, ибо открывает многообразие перспектив выбора, когда невозможность осуществления одного намерения не ведет к трагедии, но предполагает иной выбор как естественную игру пульсирующего желания, дающую известное наслаждение.

Такая жизнь может казаться скольжением по поверхности, ибо, обретая себя и испытывая боль, ощущая свое присутствие в мире, свою идентичность, субъект теряет себя в новых ситуациях, в новых актах иронии, ставящих под вопрос найденный фундаментальный смысл. Ироническая мысль постмодерна своим отказом принять нечто устоявшееся, суверенное открывает путь инноваций, плюрализма идентичностей. Возможно, она является постоянным поиском живого, телесного, говорящего Я. Но сомнительно, чтобы Я стало ее открытием. В языковом и телесно-пластическом модусе ирония раскрывается как крик, жест, конвульсия. И в этом качестве она подрывает трансцендентальное означающее, обуславливает различение значений и вызывает игру присутствия/отсутствия *телесности* в мире. Деррида так определяет это состояние текста: «...мы подвергаем сомнению авторитет присутствия, а также авторитет той его симметричной противоположности, которой является отсутствие или утрата (*l'absence ou le manqué*). Таким образом, мы, то есть те, кто населяет язык и систему мысли – подвергаем вопрошанию те пределы, которые всегда стесняли нас, то, что постоянно ограничивало нас формой смысла бытия как присутствия или отсутствия, отраженной в категории бытия или бытийственности (*ousia*)»⁴.

Ирония как веха деконструкции является переходом от единомыслия структуры к плюралистическому производству значений, артефактов, объектов и симулякров. В столкновении телесного акта и языкового выражения, на фоне критической рефлексии происходит дарование смысла, изобретение *уникального и невозможного*. Живому, традиционному субъекту с этим, пожалуй, не справиться. Как и не стоит относиться к этому

¹ Деррида использует неографизм *различание* – *différance*, сочетающий стремление установить различие – *différence* и отсрочить, отложить его – *différer*: Деррида Ж. *Différance* // Гурко Е. Тексты деконструкции. М., 1999.

² *Derrida J. Positions*. P., 1972, p.60.

³ Деррида Ж. *Difference* // Гурко Е. Тексты деконструкции. Томск, 1999, с.124.

⁴ Там же, с.134

всерьез. Если субъект будет пытаться войти в такое «событие», то убедится в прозорливости Дерриды: деконструкция не вселяет оптимизма. Деррида, апеллируя к Хайдеггеру, писал: «Эта идея «эпохи» и в особенности идея сбора судьбы бытия, единства его назначения или отправления (Schicken, Geschik) никогда не может дать места для какой-то уверенности»¹. Только отстранившись от этой сборки субъект обнаружит то, о чем Деррида умолчал: если прислониться к Бытию, есть надежда за что-то уцепиться.

¹ Деррида Ж. Письмо к японскому другу // Терещенко Н.А., Шатунова Т.М. Постмодерн как ситуация философствования. СПб., 2003, с.156.